

БЕЛАРУСЬ¹

10

Мой дед из Кобыльников носит кожух обветшалый,
Еврей с топором и лошадкой, — обычный мужик.
Шестнадцать дядьев и отец мой, еще не старик, —
Простые евреи, евреи простые, как скалы.

Плоты они гонят и сыростью пахнут речной.
До вечера бревна таскают в лесу спозаранку.
Все вместе свой ужин хлебают из миски одной
И валятся, точно снопы, на кровать и лежанку.

Мой дед, — еле-еле на печь он влезает, мой дед,
И дремлет уже на ходу, сторбив дряхлые плечи,
А ноги — понятливы, сами ведут его к печи,
Ах, добрые ноги, что служат ему столько лет...

Перевод с идиша С. Липкина

¹ Все приведенные в подборке стихотворения М. Кульбака, кроме «Асора Дибрая», представляют собой фрагменты поэмы «Райсн» («Беларусь»).

С полей потянуло осенним туманом. Косить за болотами сено
 Чуть свет отправляется деа и семнадцать его сыновей здоровенных.
 И, что твои клезмеры¹, все спозаранку уже приложиться успели.
 Как встали с отцом во главе восемнадцать, такое пошло тут веселье.
 Махнут, развернутся, махнут, развернутся. Отец обращается к детям:
 — Да, хлеба кусок нелегко достается, придется, сынки, попотеть вам.
 И движутся руки, и мускулы ходят. Раздетые до половины,
 Обросшие братья — мохнатые ели, покрыты густою щетиной.

¹ Клезмеры — народные музыканты.

Поет на ореховом дереве птичка, и деа не найдет себе места:
 — Скажите пожалуйста, кантор¹ нашелся!
 Откуда взялся — неизвестно.
 Тут начали косы точить, закурили,
 хлебнули кваску из кувшина,
 Потом поднялись и со вздохом — Бог в помощь! —
 расправили крепкие спины.
 Опять заходили под кожей лопатки,
 и травы на травы ложатся.
 И косы, сверкнув, исчезают в траве —
 одновременно все восемнадцать.
 Все машут, покуда алеющий вечер
 на лезвиях не отразится,
 И мысль о широкой селедке на ужин
 рождает улыбку на лицах.
 Кончают работу. Напялив капоты
 на тел раскаленные глыбы,
 Идут они, слушают свист перепелок,
 глядят и молчат, словно рыбы.
 Перевод с идиша Ю. Телесина

¹ Кантор — певчий в синагоге.

Любила бабушка моя молиться и поститься,
 Еще рожать детей была большая мастерица.
 Как яйца курица кладет — достойно и спокойно,
 Так бабушка совсем легко несла за двойней двойню.
 Двоих произвела на свет в потемках сеновала,
 Потом двоих дядьев она в ольшанике рожала.
 Двенадцать — на печи, одни дядья, скажи на милость.
 И на гумне моим отцом однажды разрешилась.
 Тогда лишь материнское ее закрылось чрево,
 Пеленки принялись дарить направо и налево.
 Свершила наша бабушка, что суждено ей было,
 Наседкою среди цыплят по дому все ходила...

Перевод с идиша Ю. Телесина

Все туманом обмазано густо — и окна, и крыши,
 И лицом ощущаешь ты дождь, над полями нависший,
 И сквозь пятна деревьев журавль проступает колодца,
 Что-то белое вдруг наплывет — и во мгле расплывется.
 Тихо падает ветка сухая. Печалится птица:
 — О, доколе мне столько терпеть,
 и страдать, и томиться! —

Выбегает на поле из рощи родник-непоседа,
 Из-за Немана, издали, голос доносится деда, —
 Он покрикивает, средь тумана густого, на Шмулю:
 — Эй, скорей поворачивай, Шмуля, зады на Скарулю! —
 Всюду лазает он с бородой своей мокрой, кудлатой,
 И ощупывает — из пеньки хороши ли канаты.
 А дядья в серой бездне шагают с большими баграми,
 Голоса их грохочут, а сами пропали, как в яме.
 Загребут опочинами воду, — начнется вращенье,
 И струя, как стальным топором, перерубит течение.
 Ни земли не видать, ни воды, ни травы и ни глины,
 И овейны тихим и мглистым дыханьем долины.
 Начинается лес, и оделись в туман сероватый,
 Словно мебель в богатых домах, зачехленные хаты,
 И распахнута зелень, и сердце распахнуто с нею,
 А душа у тебя — все просторнее, чище, яснее...

Минская школа

Вспыхнет солнце, и вербы заплачут. Одет синевою,
 Мокрый лес будет странен макушкой своей огневою.
 Далеко ляжет свет на луга, на крестьянина в поле.
 Травы пахнут, сияют и плачут от счастья и воли.
 Тают клочья тумана — сны трав и дерев — над лугами,
 А плоты не торопятся, вместе плывут с берегами,
 Вместе с ними округло сворачивают по старинке,
 И выпаривают шалаши из соломы росинки.
 Курит дед свою трубку, лежит, наслаждается миром,
 А земля так мощна, так сверкает, лоснистая, жиром.
 И полей, и болот зеленеет, желтеет граница,
 Лен дрожит на янтарных своих стебельках и струится.
 Зелень грядок картофельных светится матово-тихо,
 В белых крапинках розовая веселится гречиха.
 Брызжут соки земли, все твое существо опьяняя,
 Прет из веток, из трав, из корней жизнь, покуда немая,
 Так, что дед не выдерживает и от счастья земного,
 — Трясця батьку, — кричит, — твоего! —
 Рассмеется и снова: —
 — Трясця матери, — рявкнет, — твоей! —
 Сыновей он разбудит,
 И увидят они, что весна всюду рядит и судит,
 Да и сам ты наполнен весною, летящей по свету...
 Боже, что-то творится, чему и названия нету!

Царство деду небесное! Так вот гонял он плоты,
 Так из Вилии в Неман входил до ночной темноты...
 Колья вбиты в песок, стать на отдых пора ввечеру.
 И дядя зажигают на каждом плоту по костру.

Вот сидят они по двое, молча, их усталость тяжка.
 Круглый, розовый хлеб поломав, борщ едят из горшка.
 Тихо-тихо вокруг, только влажно бормочет поток,
 Только звонкий огонь распускается, точно цветок,
 Только время от времени рыба сигает со дна,
 И — тяжелая, красная — на небо всходит луна.

Перевод с идиша С. Липкина

АСОРА ДИБРАЯ¹

Был родич у деда. Водил на цепи он медведя,
 На звере зазывно звенели железные звенья.
 На ярмарках людных давали они представленья,
 А ночью плясали при звездном мерцающем свете.

И родича этого звали Асора Дибрая.
 Костлявые длинные руки, уродливый череп,
 Нелепое тело кривилось, горбом выпирая,
 И шкурой и потом несло от него, как от зверя.

¹ Асора Дибрая — «десять заповедей». Герой стихотворения нарушал их, отсюда и прозвище.

Ночью дядя Абрам был на пастбище: взял он харчи
 Да надел свой кожух и лошадок повел по замостью.
 Он торчал — серый пень — у огня в бесконечной ночи,
 Угловатый, огромный с широкою, крупною костью.

Он стреножил коней, и среди луговой тишины
 Беспokoйно топтали траву и рвались они к воле,
 На кобылах едва трепетало свеченье луны,
 Неман тихо темнел далеко в затуманенном поле.

То ль во сне колдовском, то ль увидел Абрам наяву:
 Огонек угасал, очевидно, почуяв усталость,
 И трава, наклонясь, пожирала ночную траву,
 И бесшумное дерево в дерево плавно вливалось.

Слышно было, как движутся звезды, чтоб ярче гореть,
 Словно теплый напев, к ним дымок поднимается зыбкий.
 Или там, наверху, небеса — как дрожащая сеть,
 И, как звезды, искрятся, шевелятся светлые рыбки?

Вверх лицом на росистой траве растянулся Абрам.
 В желтый круг заключенное, лунное плавало тело.
 Загорелись семнадцать стремительных звезд по краям,
 Та была ярче всех, что зеленым сияньем горела.

Вдруг зеленая звездочка вздрогнула, как светлячок,
 В синеве свой полет обозначила, быстрый, блестящий,
 Будто искра внезапно покинула синий зрачок,
 И упала, пылая, звезда в многолиственной чаше.

То ли вспомнил Абрам, то ли понял таинственный сон.
 Синева всю окрестность будила томительным звоном.
 Он поднялся, вздохнул, этой нежностью заморожен,
 И направился в тень, к лошадям своим теплым и сонным.

Шея к шее, дремотно и слабо дышали они,
 И едва к ним неслышно приблизился дядя вплотную,
 Свет с одной стороны, остальных оставляя в тени,
 Лошаденки измученной высветил спину худую.

Вскоре горсточка кляч с беспредельной слилась темнотой,
 И в шалашик соломенный дядя вошел, утомленный.
 Тускло плотными листьями тополь светился густой,
 И недвижная рожь упиралась в простор отдаленный.

Так лежал он и думал о чем-то в своем шалаше,
 Улыбался чему-то, и дом вспоминал он знакомый.
 И внезапно проснулась печаль в его ясной душе,
 И запел он, запел в шалаше из соломы:

«О Настасья, красавица первая ты на селе!
Видишь, поймы сверкают в росе, и сияет пшеница,
И кустятся овсы... Наклонись, наклонись-ка к земле
И прислушайся: кто это в ельнике нашем таится?»

Это леший. Он мохом оброс, он ступает, босой,
В лунном свете... Так выйди в широкое поле ночное,
Птицы спят среди листьев, обрызганных теплой росой,
Лишь одни родники гомонят, позабыв о покое.

Твой отец, от работы устав, спит в сарае. О нас
Лишь рябина узнает, — ее нам не надо согласья, —
Да еще ветерок — тот, что дремлет в аире сейчас.
На селе ты красавица первая. Выйди, Настасья!»

Вытер слезы Абрам, вытер слезы своим рукавом.
Он прислушался. Звездами тихая даль освещалась,
И мерцали они над землей в трепетанье живом...
Сердце с сердцем прощалось.

Перевод с идиша С. Липкина

Ходил по дорогам Асора зимою и летом,
 Медведь за Асорой послушно тащился, закован.
 Рычал и ярился на встречных босых мужиков он,
 И цепи на звере свирепом звенели при этом.

Одна за другой умирали Асорины жены.
 Он бил их, нагих, и они о пощаде взывали.
 Ночами звучали рыдания их приглушенно,
 И хевре кадише¹ от крови тела отмывали.

В Литве о последней, тринадцатой, слухи ходили,
 Что ведьма она. Погубил ее тоже Дибрая.
 Она ему дочь родила через год после брака.
 А ведьму еще молодой схоронили в могиле.

Был родич у деда. Водил на цепи он медведя,
 На звере зазывно звенели железные звенья.
 На ярмарках людных давали они представленья,
 А ночью плясали при звездном мерцающем свете.

Перевод с идиша Ю. Телесина

¹ Хевре кадише — погребальное братство, гробовщики.

БАБУШКА, ЦАРСТВО ЕЙ НЕБЕСНОЕ, СКОНЧАЛАСЬ

Мирно старенькая бабушка скончалась.
 Пели птички ей о жизни вечной,
 Потому что славилась она в округе
 Добротой своей сердечной.

И когда ее из дома выносили,
 Все присутствующие молчали.
 Положив на землю добрую старушку,
 Не высказывали вслух печали.

Дедушка, горя, все ходил по дому,
 Старенький, не мог найти покоя,
 Потому что раньше бабушки не помер —
 Обещанье дал он ей такое.

И когда свезли покойницу в местечко,
 Всем селом тогда у нас грустили:
 «Ой, нема юж старой Шлемихи, нема юж...»
 И скорбел со всеми поп Василий.

А когда, достав свой ножик, шамес
 Лацканы стал надрезать, — немедля
 Все дядья мои, бедняжки, завопили,
 Как разбойники при виде петли.

Перевод с идиша Ю. Телесина

Собирала Настасья щавель у обочин тропинок.
 То-то будет доволен отец ее, старый Антон.
 Беларусь моя благословенна лесами в овчинах,
 Щавелем да еще головешками жухлых ворон.

Словно уточка, ходит Настасья, заботы не зная,
 В руки взяв свой передник, склоняется над щавелем.
 Ножки — в крупной росе, в теле — сладость и тяжесть земная,
 И биенье земли она чувствует в сердце своем.

Человек с недоуздом навстречу выходит из рощи.
 Посмотрела Настасья, ладонь приставляя к глазам, —
 Как созданье лесное, он свежести полон и мощи,
 И смутясь, она снова нагнулась к цветам и листьям.

Это утром Абрам возвращается после ночного:
 «Здравствуй, кроткая, здравствуй, Настасья, овечка моя!»
 Но она застыдилась, и трудно ей вымолвить слово,
 За кустами скрывается, голос и смех затая.

Вот Абрам ее ищет, и радостный клич раздается:
 «Где ты, жизнь моя, где ты, овечка, Настасья, мой свет?»
 А Настасья глядит сквозь листву и блаженно смеется.
 Ей сдается: Абрам — свежий дуб, что листвою одет.

Смутлый, разгоряченный, кудрявый, пылая от счастья,
 Он в траве отыскал ее, в утренней свежести рош.
 В полурадости, в полуйспуге ждала его Настя, —
 О, не так ли пугается курочка в солнечный дождь!

Он в объятья загреб ее, в нежную, смуглую шею
 Стал ее целовать... День в листве трепетал впереди,
 А она потянулась к Абраму всей жизнью своею,
 Прижимаясь безмолвно к широкой, могучей груди.

Перевод с идиша С. Липкина

ШКОЛА
ЗИМНЯЯ НОЧЬ В СТАРОЙ ХАТЕ

18
Так лежали они, и темна была старая хата,
Бормотали, сопели, курили огромные трубки.
Утомились дядья и устали в ночь туповато,
А один возле печки сидел и храпел на приступке.

На столе догорала лучина чуть слышно и тонко,
Освещающая иглу и латавшего брюки Рахмила.
Рядом, в печке, скреблась о щербатую стенку заслонка.
Шлепал снег за окном, ветер в хату стучался уныло.

Дед, в рубахе расхристанной, слабый и потный от боли,
На печи раскаленной ворочался, часто вздыхая.
Ветер в Немане волны толкал, выгонял их на поле,
И о чем-то в хлеву умоляла корова худая.

Молча, по двое, расположились дядья на постели
И глядели без смысла, и были усталыми лица.
Старый дед повернулся: «Дитя мое, спой, в самом деле.
Спой, Авремчик, нам что-нибудь грустное, — видишь, не спится».

Спрыгнул с теплой постели Абрам. Дядя был в полумраке —
Словно кряжистый дуб, крупноствольный, могучий, зеленый.
И запел же Абрам! То не волк ли завыл в буераке?
То не ветра ли в листьях осенних смятенные стоны?

Притаившись, дядья придавили подушки плечами,
Безучастно лежали, на длинные бревна похожи.
Дед метался на жаркой печи, он гремел кирпичами,
Он метался и плакал: «Темно мне и худо, о Боже!»

Дрожь пошла по костям, по суставам у дяди Абрама.
Разлилась его песня, как озеро в синем тумане.
Он стоял, словно дуб, раздвигающий сумрак упрямо,
Чтоб, как листья, слова зашумели в предутренней рани.

Он чуприной потрянул, и стремительным стало дрожанье,
И Настасью в заветных мечтах он увидел, и были
Звуки песни его — как призывное, звонкое ржанье
Молодого коня, что грустит по горячей кобыле.

Он по хате прошелся, притопнув ногой, руки в боки.
И глаза от восторга у всех, заморгав, заблестели,
И печальные серые думы тогда, как сороки,
Закружились и быстро из хаты в окно улетели.

Сапогами затопав, запел, и в какой-то крылатый
Устремился он пляс, и зрачков его вспыхнуло пламя.
Дед почувствовал, будто летит он, летит вместе с хатой
Высоко-высоко над лугами, снегами, полями.

Потрясли его сердце томительные переливы,
И, не сразу избавясь от сладкого оцепененья,
Улыбнулся беззубой улыбкой, довольный, счастливый:
«Где, скажи мне, Авремчик, ты взял этот голос для пенья?»

Синий холод рассвета ворвался в нагретую хату,
Сквозь солому к деревьям мороз пробирался сурово.
Ветер в узких сенях из шубенки выдергивал вату,
И в хлеву перестали быть слышными просьбы коровы.

Перевод с идиша С. Липкина

Вечером, сизый, как голубь, вернулся мой дедушка с поля,
И постоял, и пред смертью молитву сказал, и вздохнул,
Тихо оправил постель, и легко и спокойно, без боли,
С миром в душе попрощавшись, глаза, обессилев, сомкнул.

Широкоплечи, кудлаты и низко склоняясь в печали,
Сердце зажавшей, обстали его изголовье дядя,
Что-то хотели сказать, но сказать не могли и молчали,
Души у них онемели, и слово и вздох затая.

Дедушка мой потихоньку глаза приоткрыл и раздвинул
В это мгновенье морщины улыбкою теплой своей,
Приподнимаясь с трудом, на постели присел и окинул,
Заговорив, добрым взглядом стоявших вокруг сыновей:

— Орча, мой первенец, был ты семейству опорой и другом,
Первым на поле ты был и последним ты был за столом.
Мягко, душевно земля для тебя раскрывалась под плугом,
Словно земля, твое семя да в мире плодится людском!

Спорить с тобою, Рахмил, на лугу никому неохота:
В травах душистых коса твоя блещет, как огненный жар!
Знают и змеи тебя, знают птицы, ключи и болота,
Благословенны да будут, мой сын, и твой хлеб, и амбар!

Шмуля, речной человек, не сравнится с тобой ни единый
Из рыбаков, и мне видится: с бреднем ты бродишь везде,
Водорослями пропах, чешуею, туманом и тиной, —
Благословенье тебе на земле и на светлой воде!..

Вечер надвинулся. Красными стали окошечки в хате,
Отсвет бросая на дедушку, — робкий, неверный багрец.
Молча стояли дядья, и стоял мой отец на закате, —
Благословения деда внимательно слушал отец.

Дедушка весь подобрался на ставшей просторной постели,
Тихо простился, недвижимые тихо закрыл он глаза,
А сыновья, ничего уже больше не видя, смотрели, —
Ни у кого ни одна не зажглась на прощанье слеза.

Где-то в лесу длилась долгая, грустная птичья беседа,
Слышались где-то унылые жалобы веток и трав,
И обступили дядья изголовье умершего деда,
В сумерках крупные головы в крепкие плечи вобрав.

Перевод с идиша С. Липкина